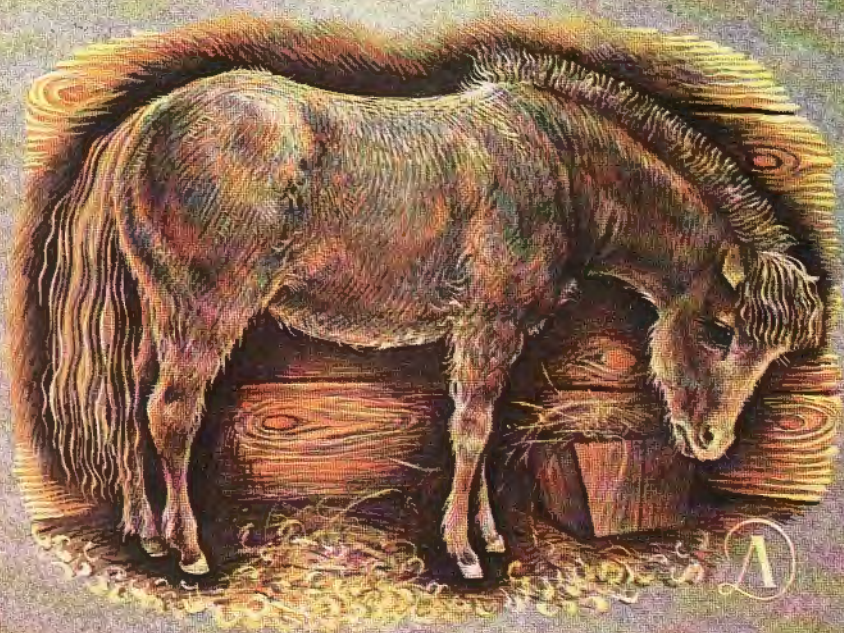


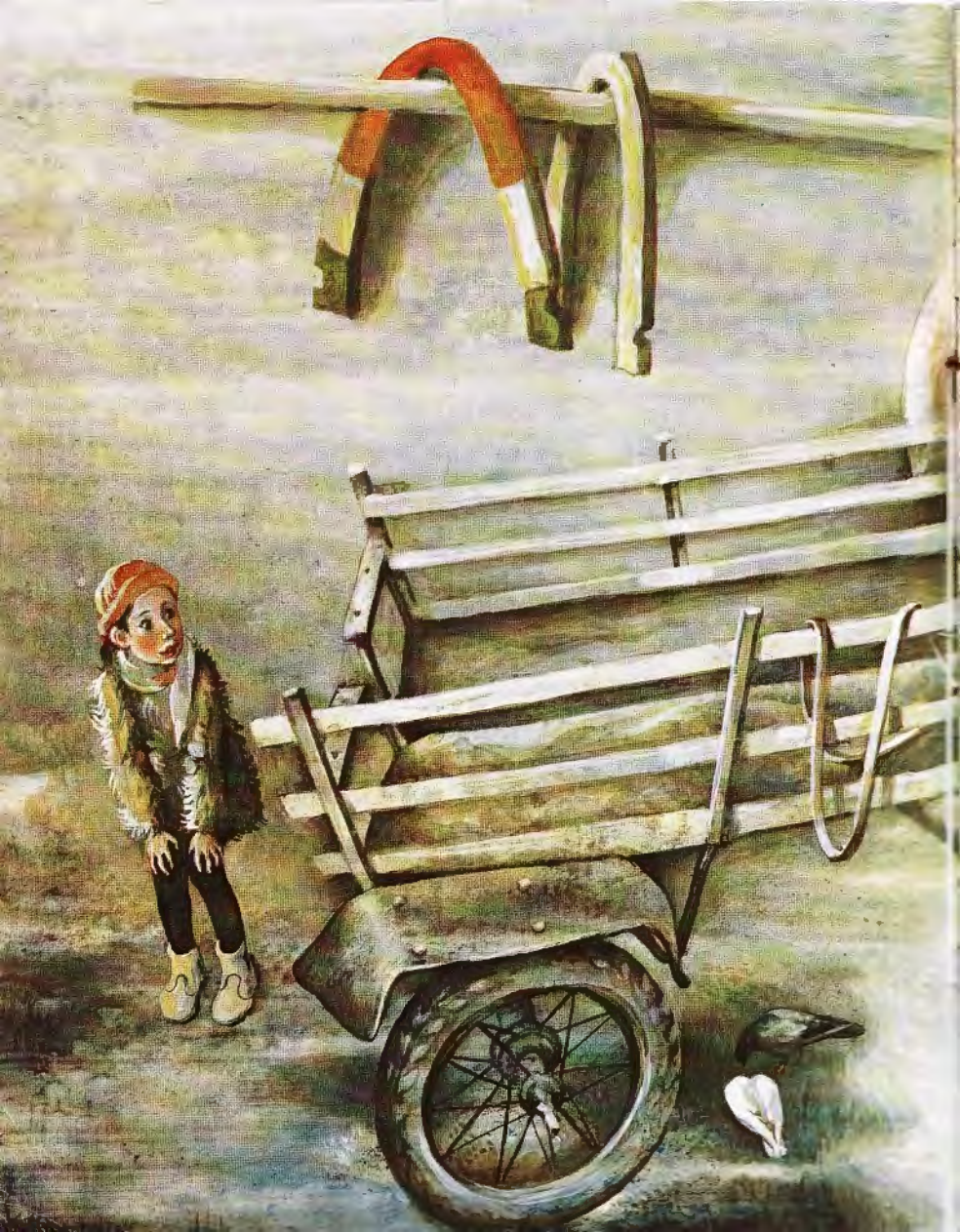
лев кузьмин

ГРУСТНАЯ

ЖИЗНЬ









ЛЕВ КУЗЬМИН

ГРУСТНАЯ  
ЭЛИЗАБЕТ

рассказ

Москва  
«Детская Литература»  
1982











1

**П**ётр Петрович Иванов был хорошим детским врачом. Сначала он работал в небольшой амбулатории в пригородном селе, а потом его пригласили в областную больницу, в сам город.

С Петром Петровичем на новое место переехали, конечно, и его сын Вася, и Васина мама.

В городе Вася опять стал ходить в школу, а Пётр Петрович и тут лечил ребятшек, и лечил по-прежнему замечательно. Он их выстукивал и выслушивал с утра до вечера.

Случалось, и дома, не успевал он прийти с работы, не успевал протереть нахолодавшие на морозе очки, как в прихожей начинал названивать телефон.

И Пётр Петрович, опережая Васю и Васину маму, хватался за трубку, отвечал: «Алло... Я слышу... Я сейчас!» — и снова нахлобучивал шляпу.

Но вот как-то по самой весне уж, в одно из воскресений, когда Пётр Петрович был всё-таки дома и вся семья Ивановых была дома, в квартире у них затренькал не телефон, а дверной авонок.



Пётр Петрович отворил, и в прихожую прямо-таки влетел кругленький, прыткий гражданин в лохматом полупальто и в барашковом картузике.

Весь красный от великой поспешности, он сначала привалился к дверному косяку, отпыхнулся, а потом сдёрнул картузик, быстро, но вежливо отвесил поклон маме, отвесил поклон Васе и, запрокинув круглое лицо, уставился на высоченного и сухопарого Петра Петровича.

— Доктор, вы самый вторитетный медик в городе, я — к вам!

Пётр Петрович от смущения тоже весь покраснел, тоже быстро ответил:

— Не самый, не самый... Я рядовой детский врач.

Но гостя было уже не остановить. То и дело взмахивая короткими ручками, оя сбивчиво и запыляло затараторил:

— Вот и славно, вот и расчудесно! А я — Чашкин... А я ааведую здешним зоопарком. Но речь идёт сейчас, доктор, не о наших с вами званиях-должностях, речь идёт о жизни или смерти одного прекрасного существа. Крошка Элизабет вчера вечером и сегодня утром окончательно и бесповоротно оказалась от всякой еды!

Пётр Петрович, конечно, сразу насторожился весь и даже, как всегда в экстренных случаях, сразу потянулся к вешалке за своим пальто и за шляпой.

— Говорите толковей, быстрее!

Говорить ещё быстрее Чашкин не мог, но толковее объяснялся:

— Элизабет — наша единственная лошадка-пони, с нею творится что-то неладное. Овса, сена не ест, воды не пьёт, сегодня утром отказалась даже от пареных отрубей, хотя и очень их любит...

— Что не ест? — замер от удивления Пётр Петрович. — Кто не ест? Какая такая пони? Какие такие сено, овёс? И при чём тут я, детский врач?

У него и брови поднялись торчком, и лицо вытянулось, а потом он вдруг рассмеялся, повесил пальто обратно на вешалку.





— А я-то сначала подумал, Элизабет — это ребёнок... Ну и приходит же людям в голову таяня вот несурaziца: давать лошадям человеческие имена, да ещё — заграничные.

— А она и есть заграничная! Чистейшая шотландская! Она и есть как ребёнок! — вамолился Чашкин. — Все животные, когда болеют, становятся ну прямо совершеннейшими детьми! Хоть слон, хоть бегемот, хоть такая невеличка, как наша Элизабет... Рассквзать о своей болезни она не может ничего, а глядит на вас так, что вам и самим хоть впору зарыдать!

И Чашкин действительно, едва-едва не плача, принялся объяснять уже не криком, а быстрым, тревожным полущёпотом, что вот именно из-за этой-то схожести его четверногих питомцев с ребятишками ему и пришла в голову этакая невероятная, этакая, можно сказаать, сумасшедшая мысль: позвать к Элизабет детского врача! А прямой специалист по лошажьим болезням — ветеринарный фельдшер у неё уже был... Был, ничего не нашёл, сказал, что у лошадки просто такой временный каприз и что скоро всё это пройдёт. Но он, Чашкин, фельдшеру не аерит! Слишком Элизабет грустна для капризов, и если тут ещё и Пётр Петрович откажет, то неизвестно что и делать.

— А ничего и не надо делать, — совсем уже спокойно, без всякой усмешки, ответил Пётр Петрович. — Советую день-другой обождать. Послушаться вашего, как вы сказали, прямого специалиста. А сейчас, милости прошу, к нам на горячие пирожки, на кофеёк!

Но расстроенный Чашкин лишь с огорчением посмотрел на Петра Петровича, сказал: «Эх-х...» — и пошёл не туда, откуда у Ивановых так аппетитно потягивало кофейком, а медленно и понуро шагнул к выходной двери.

И неизвестно, что случилось бы дальше, если бы не Вася и не его мама.

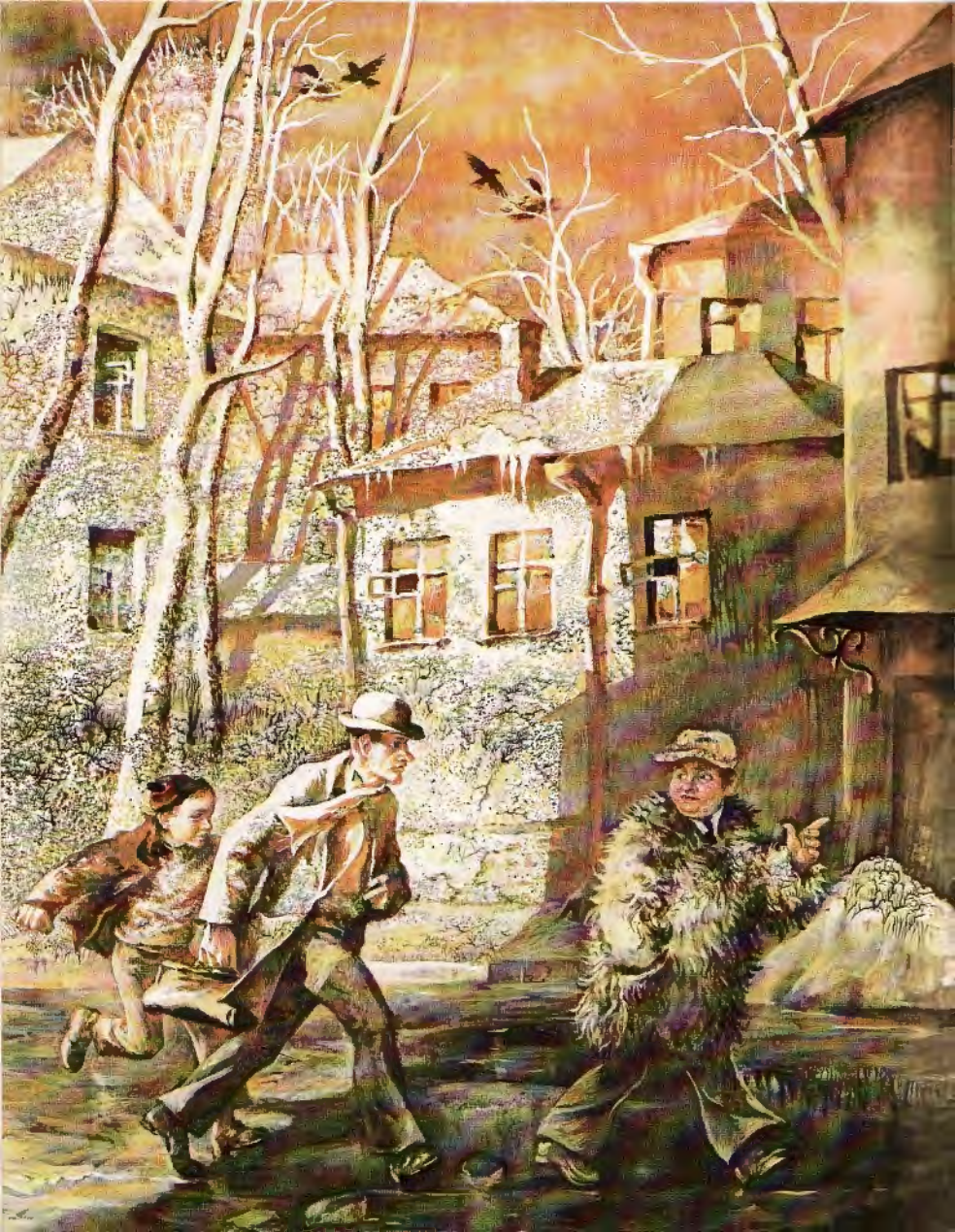
Вася чуть ли не крикнул:

— Эх, папка! А сам говорил: «Кто бы где бы ни просил о подмоге, отворачиваться не честно!»

Мама тоже подхватила:







— Не честно! Пускай это не твоя обязанность, пускай это не ребёнок, а лошадка, но раз мы про эту лошадку узнали уже, то и отказать ей в помощи никак нельзя.

— Конечно, нельзя... — сразу откликнулся Чашкин, остановившись у порога.

А Вася добавил:

— Я теперь про эту лошадку буду думать каждый день.

— Я тоже, — сказала мама.

Тут Пётр Петрович нахмурился и широко, на асю приходящую, развёл руками:

— Я-асно... Вы, получается, добряки, вы, получается, хорошие люди, а я — нет...

И он, как бы всё больше и больше сердясь, глянул на маму, глянул на Васю, немножко поприветливее посмотрел на Чашкина и опять потянулся к вешалке, стал во второй раз снимать с крючка шляпу и пальто.

Вася мигом ринулся за своей тёплой курточкой, закричал:

— Можно и я с вами?

Пётр Петрович кивнул молча, зато воспрянувший Чашкин радостно выпалил:

— Можно! И даже обязательно!

## 2

И вот перед ними распахнутая наастречу весеннему ветру городская улица. На ней шум, весёлая людская толкотня. Дома, домишки, деревянные заборы золотисто-жёлты от солнца. На асфальтовых, ещё не полностью очищенных ото льда тротуарах журчание ручьёв. На голых, но по-мартовски тёплых тополях — воробыный ор. За тополями — сверкающие рельсов, радостный трезвон трамваев.

Пётр Петрович с Васей сразу и пошагали было к трамвайной остановке, да Чашкин забежал вперёд:

— Не туда!

Он повёл их то узкими, почти пустынными переулками, то проходными полутёмными дворами, где всё ещё синел



мокрым снегом и где по водосточным жестяным трубам неистово грохотали падающие с крыш сосульки.

Под этот грохот Чашкин отважно нырял из одной сумрачной арки в другую, услужливо показывая:

— Налево, доктор, теперь направо... Простите, что веду такими ходами-переходами, тут намного быстрее.

Пётр Петрович и сам теперь торопился, Вася едва за ним поспевал.

— Не отставай, Васёк, нажимай!

Вася тоже спешил, и не только на выручку к лошадке. Ему давно хотелось побывать в зоопарке. Хотелось, но до нынешнего дня всё как-то не выходило.

Сперва, когда Ивановы только переехали в город, Вася просто не знал, что тут есть такое интересное место. А когда узнал, уже наступило первое сентября и начались занятия в школе. А потом Васю приняли в хоккейную команду, и ему стало совсем уже ни до чего, в том числе и не до зоопарка.

Позже с этим хоккеем у Васи вышла одна неприятная история, о которой стоит рассказать подробнее.

Команда была, конечно, детской, школьной, и тренировал её учитель по физкультуре. Он сразу углядел, какой Вася после деревенской жизни крепенький да ловкий, и очень скоро назначил его вратарём. Но назначил не одного, а в пересменку с другим мальчиком, с Николушкой Копейкиным. На одну игру — скажем, в сегодняшний вечер — тренер выпускал на лёд Васю, на другую игру — в следующий вечер — выпускал Николушку.

И всё было бы хорошо, если бы однажды во время игры Вася не отразил страшнейший удар — булит. Удар с семи метров один на один с вратарём. Николушка ни разу таких шайб не брал, а он — взял.

Он и сейчас помнит, как ахнули все, когда шайба оказалась у него в ловушке. И вот с этой-то минуты Вася Иванов ужасно зауважал сам себя. Сначала молчком, тишком, а потом учудил номер и при всех.

Когда к ним на ледовую встречу приехала знаменитая команда тридцать третьей городской школы, когда Васины



боевые соратники и сам он выходили, грохоча коньками, из раздевалки, когда Николушка Копейкин провожал всех добрыми пожеланиями и немножко завистливым взглядом, потому что был в этот вечер запасным, — то Вася, поравнявшись с Николушкой, прищёлкнул перед его носом пальцами и сказал:

— Вот так-то! Сегодня и безо всякого черёда должен был бы играть я. Сегодня сражаются хоккеисты — первый сорт!

Николушка мигом вскинулся, но тут же грянул бас тренера:

— Отставить! Это кто это первый сорт? Это ты, Иванов, первый сорт? Отставить и твой выход. Садись в запас, на лёд идёт Копейкин.



А ещё он сказал, что за такое зазнайство и хвастовство его, Иванова, надо бы отправить даже не на запасную скамью, а домой; но поскольку грех с Васей вышел впервые, то пускай Вася пока посидит вот тут в раздевалочке, у окошечка, да и подумает, какой он сорт-фрукт на самом деле — наилучший или так себе, с пятнышком...

И ошарашенный, расстроенный Вася остался в раздевалке один. Перешагивая через вороха ребячьих обувок, не снимая коньков, он проковылял к длинной, под окошком, скамье и, почти ничего не видя от слёз, уткнулся в холодное стекло.

Какой он теперь «сорт-фрукт», Вася понял сразу. На душе у Васи сделалось так скверно, как будто он только что шёл на какой-то удивительно весёлый праздник, шёл вместе с друзьями, и вдруг все ушагнули вперёд, а перед ним с треском захлопнулась дверь.

Она захлопнулась, и остался для него, для Васи, лишь вот этот квадратный оконный проёмчик с надбитым стеклом: смотреть смотри, а проходить дальше и не пробуй. Там, на празднике, и без тебя, Васёк, хорошо; там, на празднике, и без тебя, Васёк, обойдётся...

Но и в окошко почти ничего нельзя было разглядеть. Выходило оно чуть в сторону от хоккейной площадки на белые кусты, на утопанную дорожку, на белеющий в сумерках школьный сад, и Васи не столько видел, сколько слышал, что там, на площадке, происходило.

А там, как всегда, орали, визжали, галдели, хлопали в ладоши ребяташки. Там заливался судейский свисток, хлестали по сосновым бортам крепкие удары шайбы, звенели на виражах коньки. Оттуда, как всегда, бил на все четыре стороны радостный электрический свет. И только одно там было не как всегда. Всё это ликующее, всё это светло-шумное празднество проходило теперь без Васи Иванова. И от этого Васе было ещё нестерпимей, ещё тошней.

Он уж думал, что так навсегда и останется запасным, но тренер был хотя и суров, но справедлив: наказал Васю на одну лишь игру. Простил тогда Васю и Николушка. Тем

более, что в матче-то с тридцать третьей школой Николушка сыграл превосходно.

А Вася с той поры и хвастаться зарёкся, и тренироваться стал ещё старательней, и вот из-за этого старания ни разу в зоологическом парке и не побывал.

### 3

Теперь же в зоопарк Васю вела, можно сказать, сама судьба.

Судьбой этой был толстенный, пряткий, пыхтящий на ходу, как паровоз, Чашкин.

Перебежав ещё один неведомый ни Васе, ни Петру Петровичу сугробный переулок, миновав ещё одну арку и ещё один тёмный двор, он вдруг выскочил сам, а за ним и его попутчики на весеннюю улицу. Обегая прохожих, повернули туда, повернули сюда, и вот — ворота зоопарка, фанерная будочка.

Из будочки выглянула рыжая контролёрша в сиреновой фетровой шляпке:

— Прошу-у билетики...

— Это со мной! — бросил ей Чашкин, опять махнул Петру Петровичу и Васе, чтобы не задерживались, и запетлял теперь в толпе меж длинных вольер, построенных тут в солнечном затишке под огромными липами.

На самых макушках лип, под самой синью неба в тонком прутье возились, горланили, делили меж собой прошлогодние гнёзда вольные грачи. А у вольер внизу гомонила тоже, но чуть поспокойней, гуляющая публяка. Больше всех тут было ребятишек. И больше всего их толпилось у бассейна, возле байкальской нерпы Нюрки.

Не могли ни в какое сравнение с Нюркой идти ни белки, которые, задрав пушистые хвосты, лихо накручивали деревянные меленки-колёса, ни поразительно жирный, с полосатой потешной мордой барсук, ни два развесёлых, кувыркающихся через голову тибетских медвежонка.



Вася даже про лошадку на миг забыл и сам прилип к парапету бассейна, уставился на Нюрку.

А она там — стремительная, вёрткая, чёрно-блестящая — то уходила в прозрачной воде к самому дну, то, плавно и красиво изогнувшись, абсолютно бесшумно, без единого всплеска выставляла к зрителям из воды странно-синеглазую усатую голову.

И тогда кто-нибудь из ребят с бетонной, не очень высокой стенки кричал:



— Нюра, пас! — и швырял в бассейн заранее приготовленный оранжевый целлулоидный мячик.

Нюрка почти на лету ловила его крепким носом, и — плюх! банг! — упругий мячик взвился — и вот уже снова лежал у самых ребячьих ног.

— Пас! — кричали снова ребяташки и снова швыряли Нюрке мячики.

Банг! Банг! — опять взлетали они, ребяташки хохотали, довольная Нюрка повёртывалась кверху гладеньким брюхом, сама себе, как в ладоши, хлопала мокрыми ластами.

— Вот так провора! — захолопало было и Вася, да вдруг почувствовал, что остался в толпе один, что приткий Чашкин и быстроходный Пётр Петрович ушагали далеко вперёд, и припустил за ними следом.

Настиг он их возле нешироких, с прочною оградой загон.

В одном загоне Вася тут же увидел горбоносого надменного верблюда, который что-то медленно жевал и который глянул на Васю так по-барски, с таким пренебрежением, что Вася в свою очередь не выдержал, сказал ему ехидненько: «Хо-хо!» Сказал скороговоркой и, в общем-то, не вслух, а про себя, так, чтобы верблюд, конечно, не расслышал.







Тем более, что рядом с верблюдом обитало ужасное страшилище. Сквозь железную ограду таращился на Васю лесной бычище — зубр. Он заслонил крепколовой башкой своей чуть ли не весь зарешеченный просвет меж бетонными столбами в загородке, и казалось, сто́ит ему слегка приналечь, и вся ограда так с треском на Васю и рухнет.

Но это только казалось. Бык, видимо, знал, что бетонные столбы куда прочней его лба, и стоял, не шевелился, лишь разок совершенно мирно, совершенно по-коровьи фукнул широченными влажными ноздрями и ловко их прочистил одаю за другой шершавым широким языком.

А вот в загончике рядом с ним никого не было.

Там только в самой глубине, у призакрытой двери жёлтого хлевушка, на согретой солнцем земле копошились, выискивали что-то в соломенной трухе и нежно гуркали залётные голуби.

На прутьях ограды висела табличка с надписью:

**« П О Н И »**

А чуть пониже, помельче:

**« ш о т л а н д с к и й ».**

Пётр Петрович быстро взглянул на эту надпись:

— Гляди-ка... И верно иностранка. Но где же она сама, ваша грустная Элизабет?

— В том-то и дело... — пропыхтел, отдуваясь, Чашкин и утёр азмокший лоб подкладкой картузика. — В том-то и дело: не ест, не пьёт, даже на прогулку в загончик не выходит... Пожалуйте, доктор, сюда.

И вот они все трое оказались на другой, на закрытой для посетителей стороне зоопарка, и Васе почудилось на какое-то мгновение, что они снова в деревне.

По всему тесному задворью меж чёрных бревенчатых служб тут плыл, мешался с талым запахом сугроба тонкий, напоминающий о лете, о лугах, запах сена. Голуби и воробьи, оглушительно хлопая крыльями, кидались тут прямо под ноги. Они хватали, поспешно подбирали кем-то рассыпанный у сарая овёс; а кто-то где-то — кажется, за окошками хлевов — по-гусиному гоготал, по-телячьи взмыкивал, и даже, как Васе показалось, кукарекнул.

**4**

Чашкин звякнул щеколдой, открыл низенькую набухшую дверь. Из тёмного проёма пахнуло тёплой конюшней, саежими сосновыми опилками.

— Вот и Элизабет, — сказал Чашкин.

Но после светлого двора, после солнца здесь, в полутьме, Пётр Петрович и Вася лишь слепо заморгали.

Тогда Чашкин распахнул дверь полностью. А потом





ПОНИ  
ШОТЛАНДСКИЙ

прошёл вперёд и толкнул вторую дверь, что выходила в загон с табличкой на ограде. И в сумеречное помещение сразу ворвался мартовский сквознячок, сноп света упал на истоптанные опилки, золотисто отразился на щелястых стенах, на потолке. И вот в самой тени в углу, за широкой, полной душистого сена кормушкой, Пётр Петрович и Вася увидели чудесную крохотную лошадку.

Масти она была тёмной, почти вороной. Аккуратно подстриженная гривка её топорщилась ёжиком. А из-под чёлки смотрели на Васю, помаргивали нечастыми длинными рес-





ницами удивительно ласковые, с влажной искоркой, глаза. Очень ласковые глаза, очень добрые, но и очень печальные.

Вася сразу увидел, что они печальные, и шагнул к лошадке, стал быстро обшаривать свои карманы. Пётр Петрович стал тоже охлопывать карманы, да ещё и заприговаривал, переиначив имя лошадки на свой собственный лад:

— Сейчас, Лизок, сейчас... Потерпи, маленькая.

Но Лизок-Элизабет и ждать не стала, что они там отыщут, а вздохнула, повернулась и уставилась опять в свой угол, в какую-то там узенькую, светлую дырочку.

Вася не нашёл в своих карманах ничего вкусного и тоже вздохнул.

И Пётр Петрович ничего не нашёл.

И тогда он раскрыл саквояж и вынул докторскую деревянную трубочку:

— Ну-с... Приступим к прослушиванию. Только, пожалуйста, Чашкин, сделайте так, чтобы она не взбрыкнула.

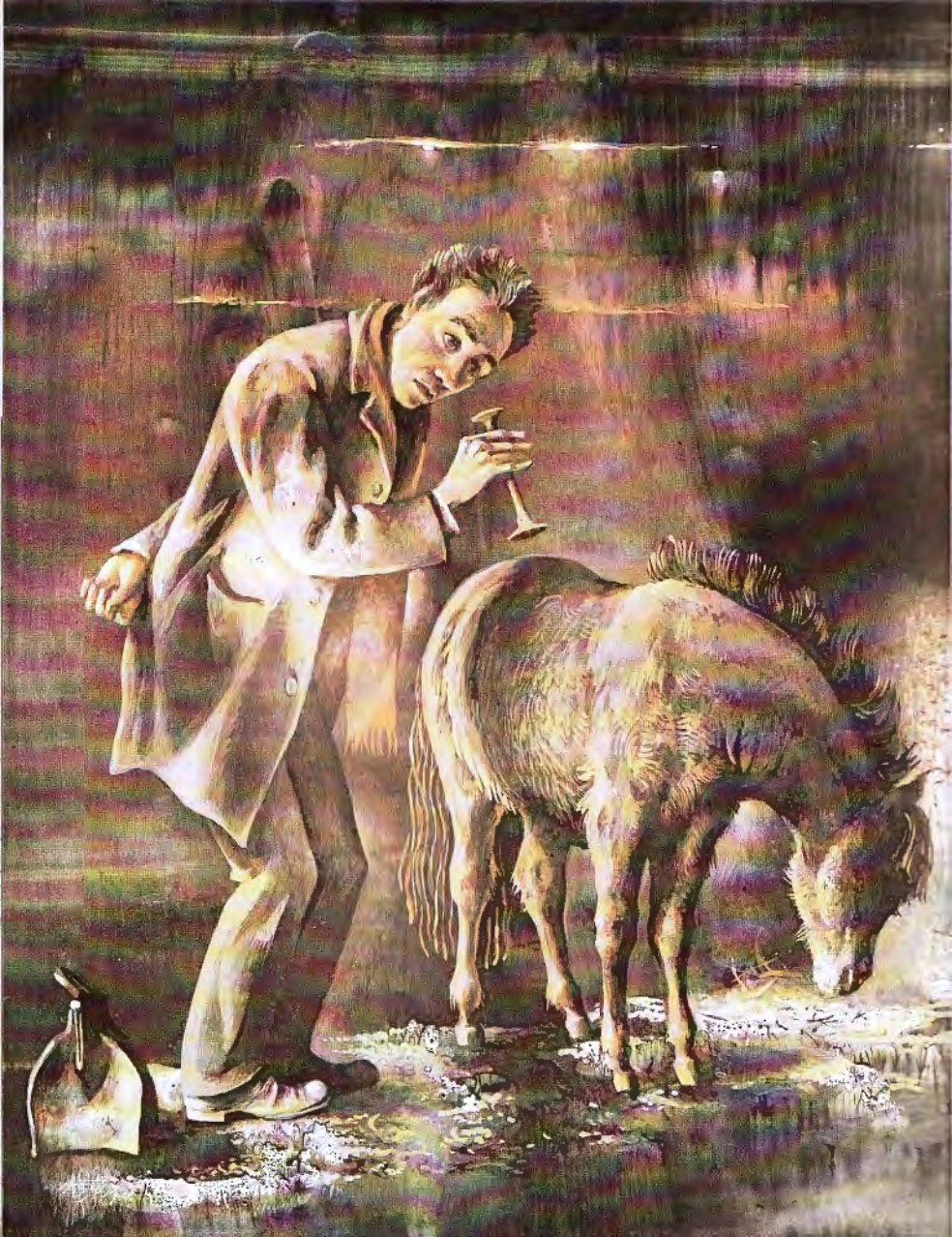
— Да что вы, доктор! Да Элизабет ручная, как котёнок! — опять засуетился Чашкин и похлопал лошадку по круглым бокам, по спине, заворошил её пушистую гривку, чтобы показать, какая Элизабет не брыкливая.

Действительно, ко всей длинной и довольно утомительной процедуре прослушивания нони отнеслась очень покорно. И лишь когда Пётр Петрович легко прикоснулся ладонью к её мягким ноздрям, чтобы проверить, нет ли у лошадки жара, Элизабет фыркнула и встряхнула головой. Но это лишь оттого, наверное, что от ладоней Петра Петровича и от его одежды пахло лекарством.

А потом он опять принялся её выстукивать, опять принялся выслушивать. И лицо его было так же серьёзно, как если бы он склонился не над пони в зоопарке, а над маленьким пациентом у себя в детской больнице.

И только вот Чашкин нет-нет да и мешал ему сосредоточиться.

— Ну что? Ну как? Ну, ясно что-нибудь? — нетерпеливо совался он под руку, а Пётр Петрович всё отмахивался от него, бормотал:







— Подождите... Дайте разобратся...

И вот наконец выпрямился, решительно сказал:

— Ничего не нахожу! Ветеринарный фельдшер прав был абсолютно. Ах, Чашкин, Чашкин, я же вам говорил!

И он подхватил с пола, с опилок пузатенький саквояж, спрятал в него трубку, защёлкнул замок.

Пони шевельнула хвостом, опять уткнулась в полутёмный угол, в сияющую там саетлой звёздочкой дырку.

У Чашкина глаза сделались такими же горестными, как у самой Элизабет, и даже ещё горестней. Он молча раскрыл и закрыл рот, будто хотел сказать: «Как же так? Отчего же она тогда такая?» — да, глядя на непреклонного доктора, вымолвить не решился.

Промолчал и Вася.

Он всё смотрел и смотрел на лошадку, на то, как она понуро склонила голову к своей мерцающей в углу дырочке, как всё тянется к ней. И вдруг вспомнил самого себя, вот такого же грустного у окошка в раздевалке, вспомнил все свои переживания там и бросился к Чашкину:

— Стойте! А что у вас за щёлкой, в которую Элизабет всё глядит и глядит? Может, у неё друзья там? Может, для неё там что-то такое интересное, а вы её туда не пускаете, — вот она и загнутила у вас!

Тут и Пётр Петрович спросил быстро Чашкина:

— В самом деле, что там?

— Ровным счётом ничего, — недоуменно пожал плечами Чашкин. — Всё тот же пустой двор, по которому вы сами шли; во дворе, напротив дырки, сарай; в сарае — мешки с овсом да рессорный тарантасик.

— Какой, какой тарантасик? — не то недопонял, не то недослышал Пётр Петрович, и Чашкин пустился пространно объяснять:

— Ну, такой вот обыкновенный, неужто не знаете? С колёсами на специальных пружинах, чтобы не трясло, с мягкими сиденьями для ездовых, с двумя оглобелями, чтобы запрягать туда...

И тут Чашкин смолк, и тут Чашкин вытаращил глаза.

Вытаращил, помигал, хлопнул себя ладшкой по лбу и радостно закричал:

— Ах, как это я сам не догадался и всех с толку сбил! Она ведь этот тарантасик свой и высматривает! Ждёт не дождётся, когда ей скажут: «А ну, поехали!»

Элизабет при этих словах наострила уши, вдруг повернулась, негромко ржанула и, простучав копытами по деревянному полу, по тонким опилкам, сама подбежала к Чашкину.

— Ура! — сказал, весь так и просияв, Чашкин. — Диагноз точный, Васёк молодец! Не спроси про дырочку, мы бы и теперь ещё ни в чём не разобрались... Ну, доктор, и сын у вас! Ну и дотошный сынище — сразу видно, что это около саоего папы набрался он такого ума-разума! Навверника готовится тоже стать врачом.

— Вполне аозможно, вполне возможно... — смущённо и в то же время радостно улыбнулся Пётр Петрович.

Смущённо, потому что ему было всё ж таки неудобно, что не он первым догадался спросить у Чашкина, куда это





заглядывает Элизабет, а радостно, потому что ему было приятно, что его сынишку Васю вот так вот нахваляют. Ведь сам-то он про историю с раздевалкой, с окошком ничего не знал, а значит, и предполагать не мог, откуда на самом деле Вася набрался такого ума-разума.

А возбуждённый Чашкин надевал узду на лошадку и всё говорил, всё говорил. Он рассказывал, что вот уже года три подряд, как только погода станет совсем тёплой и в зоопарке просохнут дорожки, Элизабет катает по атим дорожкам ребят-гостей и лишь в зимнюю пору получает как бы трудовой отпуск. Отдыхает до новой весны в хлевушке или разгуливает, когда захочет, в той ограде, где висит дощечка с надписью: «Пони шотландский».

Но только вот что стрвнно: раньше Элизабет к тому, когда придёт конец её отпуска, относилась спокойно — когда запрягут, тогда и запрягут. А нынче — на тебе! — ударилась в этакую печаль... Ну как тут с толку не собьёшься? Вот он, Чашкин, и сбился и, конечно, побежал к ветеринару, а потом и к Петру Петровичу...

— Вы уж, доктор, на нас не обижайтесь!

— Да что вы, дорогой Чашкин. Визит был не напрасен ни капли. Я даже рад, что теперь с вашей лошадкой познакомился. Она и в самом деле чем-то очень похожа на человека. И неожиданности в её поведении нет никакой. Всё это значит, что раньше она у вас действительно была как беспечный ребёнок, а теперь вот взяла да и повзрослела, и гулять ей просто так уже не интересно. Я вот сам, во время своих отпусков, сначала радуюсь, а потом жду не дождусь конца... Это очень славная лошадка, Чашкин, я поздравляю вас!

— А мне тоже безо всякого дела гулять никогда не интересно, — засмеялся Вася. — Так, выходит, я тоже взрослый?

— Если вон там, за дверью во дворе, на высокий чурбанчик встанешь, то получится — почти взрослый, — ответил Пётр Петрович, и теперь засмеялись все.

Лошадка и та глянула на Васю так живо, так светло, будто ответ Петра Петровича поняла полностью и вполне с ним согласна.



А потом началось самое приятное.

Как только Чашкин вывел вороную, складненькую Элизабет под уздцы во двор, так мигом туда сбежались чуть ли не все служители зоопарка.

Они ведь из-за пони наволновались тоже. Они теперь тоже поздравляли Чашкина.

Но Чашкин лишь скромно повёл рукой в сторону Васи, в сторону Петра Петровича: вот, мол, кого надо поздравлять, вот кого благодарить! — и приказал отпереть сарай с тарантасиком.

Ах, каким расчудесным был этот тарантасик!

Когда его выкатили из холодной темноты сарая под тёплое солнышко, когда смели с него мусор и пыль, он так и заиграл весь своими легко изогнутыми, стальными рессорами, своими точёными колёсами, крашеными, лаковыми крыльями и облучком!

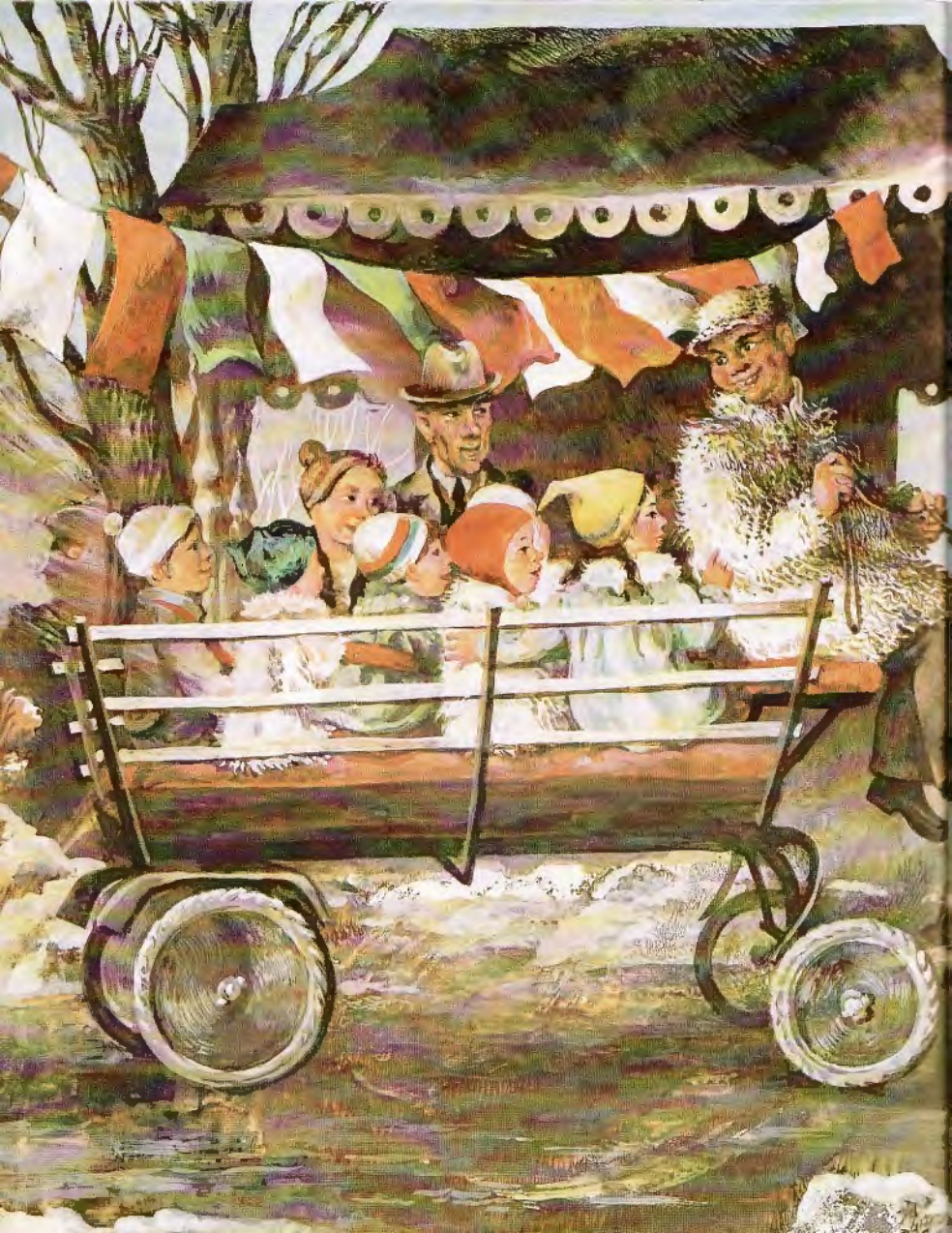
А когда Элизабет встала в оглобелки и над её гривкой поднялась тёмно-синяя с алыми розанами и с медным колокольчиком дуга и когда Чашкин, взяв вожжи в ладонь, широко, приглашающим жестом показал Васе и Петру Петровичу на кожаное сиденье, то Вася даже захлебнулся от радости, а потом вдруг испуганно спросил:

— Разве пони троих увезёт?

— Больше увезёт. Да ещё кзк! С музыкой, с ветерком... Жаль, наш кучер Ваня Чемоданов тоже гуляет в отпуску — он бы прокатил вас ещё и с посвистом!

И вот под Петром Петровичем и Васей приятно скрипнуло сиденье. Кругленький, расторопный Чашкин легко вспрыгнул на облучок, поправил картузик, махнул помощникам: «Расступись!», и Элизабет сама, не дожидаясь ни свиста, ни окрика, стронула тарантасик и пошла, пошла, пошла по мощённому двору меж обтаявших сугробов сначала ходким шагом, а потом и напористой рысцой.

На асфальтовую, в мелких лужах дорожку выкатили с таким звоном, с таким цокотом копыт, что теперь даже







и байкальская нерпа Нюрка никого не могла возле себя удержать.

Все мальчики, все девочки так и замерли, услышав эту летящую, гремющую, весеннюю музыку подков, колёс и колокольчика. А когда увидели, как бодро несёт Элизабет над собой дугу, словно маленькую радугу, когда сияющий Чашкин ядруг обернулся к Васе, поманил его к себе на облучок и отдал вожжи: «На, да не бойся! Лошадка сама не сойдёт с круга!» — то все мальчики и девочки закричали:

— Нас прокатите! Нас тоже!

Чашкин спрыгнул, подхватил двоих, ловко усадил в тарантасик, прямо на всём его на ровном, быстром ходу.

— Следующие занимайте очередь! — весело сказал он.







Пётр Петрович тоже выпрыгнул, тоже усадил вместо себя двух тоненько ахнувших девчушек.

И вот так вот, под ребячий писк, под стукоток своих подков, Элизабет покатила ходкий тарантасик всё дальше и дальше по широкому кругу.

Она катила, а из-под небесной сини со старых лип её приветствовали всюю грачи:

«Здра-а! Здра-а!»

Ей что-то хорошее провизжали тибетские медвежата, просвистели белки, а нерпа Нюрка, нимало не завидун чужой доброй славе, взвилась над бассейном свечой и звонко хлопала широкими ладошками-ластами.

А Вася, весь так и падая стремительно вперёд, ещё крепче подобрал вожжи и, глядя, как ходит перед ним, шевелится на встречном ветру лошадиная гривка, радостным полусшёпотом всё наговаривал и себе, и Элизабет, и сидящим рядом ребяташкам:

— Ах, какой молодец Чашкин, что сбился с толку! Ах, какой он умница, что позвал меня и папу сюда!

И в лад его словам звонкие подковки Элизабет тоже радостно и складно выстукивали:

«Именно так! Имяно так! Именно так!»









